

Елена КРЮКОВА

Родилась в Самаре. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт им. Горького.

Автор книг стихов и прозы, куратор и автор художественных проектов в России и за рубежом. Лауреат премии им. М. И. Цветаевой, Кубка мира по русской поэзии, премий журнала «Нева» за лучший роман года («Врата смерти», 2012), им. Горького (2014), им. И. Гончарова (2015), Международной литературной премии имени А. Куприна (2016), Международной премии им. Э. Хемингуэя (2017).

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

ПЕСНИ РАЙСКОГО САДА

О книге стихотворений Олеси Николаевой «Уроки русского»

Как мы пишем? И чем? Ручкой, карандашом, древним стилем, колотим по клавишам с нарисованными буквицами, аки музыкант по клавишам рояля, клавесина, органа? И, главное, зачем?

...Слово дико. Оно неприрученное, как мы ни стараемся приручить его. Слово волшебное, как ни тщимся мы подать его на блюде вполне земным, дымящимся, под вкусным соусом, с горчичкой и перцем злых посвистов и сладким соусом кокетливых ахов и охов. Оно потустороннее, иномирное, надмирное, междузвездное, оно суть символ-знак Инобытия. А что оно делает здесь? Мы давно им пользуемся, привычно, веками, перебрасывая его друг другу, как мяч. Подбрасывая высоко вверх почтовым голубем: лети! Унеси мое послание далеко... далеко... в иные века... в иные страны...

Бумажный голубь... темные кресты лапок на белом, чистейшем снегу...

И письмо то сосредоточенно и любовно пишем мы на родном языке. Ибо и в начале жизни, и в конце ея, при завершении пути, мы говорим на своем родном наречии, мы, народ, счастливо и полынно-горько выдыхаем это, вечное: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое...»

Олеся Николаева записывает свои буквицы, слова, вдохи и выдохи, рисует свои неповторимые письмена по-русски. И собрание письмен своих рифмованных, то жестких, то нежных, то строгих, то весенне-ледоходно-свободных, именуется – «Уроки русского».

Уроки. Тут надо вдуматься не только в звучание слова.

Хотя внутри музыки сего слова – и античный рок, Ананке, и то, что пойдет старательно впрок, и то, что хранится, таинственно прячется между строк...

А надо понять не только интонацию, не только созвучия и обертоны. Смысл таков: я учу вас Русскому, русские. Я учу вас – вашей памяти. Без насильственной дидактики. Без назидания. Я, внемлите, поймите, вам сей урок – *пою*.

И верно, Олеся Николаева *поёт*.

Она изрядно одарена тем, за чем другие гоняются, ищут эту благодать днем с огнем, ищут и не находят, и пытаются искусственно ее родить, ей подражать, ее – сымитировать; но искусство симулякра тут не проходит.

Ей внятно все: и чудо одинокой, перед Господом, исповеди, и почти подземное, инфракрасное, хтоническое звучание Всеобщего Хора – когда по всей вертикали, от низовой нищеты до снеговых вершин элиты, сходясь в одно целое, выдыхает народ из прокуренных, измученных, да все равно могучих легких своих, готовясь на невиданную доселе борьбу, органно гудящий воздух целой жизни.

Кто крупную находит дичь,
кто бьёт мелкашку, кто достичь
желал бы сразу райской дверцы,
кто греет злость, кто копит хлам,
кто затаился по углам,
а кто булыжник носит в сердце.

...Но наступает миг, когда
гурьба, толпа, братва, орда,
кто – в облаках, кто – в нечистотах,
кто сам в себе – упёрт и горд –
сливаются в один аккорд,
пугающий на нижних нотах.

Удивительно родное и радостно-объяснимое это сопоставление живого (малого) с планетарным (громадным): вспоминается Аввакумово видение, о котором опальный протопоп пишет царю Алексею Михайловичу, когда во сне, в голодном бреде Аввакум увидел себя летящим над землей, и под небом раскинулся он гигантской птицей... «И лежащу ми на одре моем и зазирающу себе, яко в таковыя великия дни правила не имею, но токмо по чоткам молитвы читаю, и Божиим благоволением в нощи вторыя недели, против пятка, распространился язык мой и бысть велик зело, потом и зубы быша велики, а се и руки быша и ноги велики, потом и весь широк и пространен под небесем по всей земли распространился, а потом Бог вместил в меня небо, и землю, и всю тварь. Мне же, молитвы беспрестанно творящу и лествицу перебирающу в то время, и бысть того времени на полчаса и больши, и потом восставши ми от одра лехко и поклонившуся до земля Господеви, и после сего пришещения Господня начах хлеб ясти во славу Богу». У Олеси Николаевой видим то же Мирочувствование, ту же Вселенскую радость:

И земле подо мною совсем не до сна:
я ворочаюсь, словно Кавказ,
как Сибирь угораю, валюсь, как сосна,
так что сыплются звёзды из глаз.

И спускается плавно небесная высь,
открывается Книга из книг,
деревенской старухой шурша: «Не бойсь!
Есть у родины нашей двойник!»

Вот она – между этих и этих страниц –
все тут живы в своей новизне
и летают с небесными стаями птиц
хоть куда – к Енисею, к Десне.
Распадается цепь, зацветает бурьян,
всё кончается – бедствие, ложь.
Лишь лихой человек изнывает от ран,
напорвшись на собственный нож.

Песня тоже может стать раной. Стать – кровью. Кровь есть память. Кровь есть народ. Кровью мы помним нашу культуру, песнею – освящаем. «Стихи с посвящением» – конечно же Анне Ахматовой. Женская ипостась в поэзии апофатична. Неизъяснима. Женский голос летит ввысь, и вот он уже там, в синеве, рядом с белым голубем, сиречь, Духом Святым. Песня! За нее сполна кровью заплачено. Неизбывным страданием.

...Офелия плывет с венками ив.
А лирике грозит разлом, разрыв
материи – утратой героини.
Она утонет с песнями, а та,
что выживет на берегу, у рта
потерю выдаст складкою гордыни.

И всё-таки, минуя зеркала,
такую музыку она в себе несла!
Земля плыла, качались в такт кадила,
мир в жертвенной крови крутила ось.
Но с пением она прошла насквозь
плен времени и, выйдя, – победила!

«Минуя зеркала...» Зеркало – сон. Зеркало – Иной Мирь, оно и Инферно, и горный, светящийся воздух (голубой иерейский праздничный воздух...) сфер, где парит Михаил Архангел и его небесное воинство Сил бесплотных, Херувимы и Серафимы... «Но с пением она прошла насквозь / плен времени...» Ни на минуту, ни на миг не прерывается мелос: он то течет подземной рекой, как кровь под тонкой кожей, то вырывается наружу, как в последнем триумфальном возгласе стихотворения: «...победила!» Победа всегда радость, и она всегда крылата. Ахматова, над мрачными годами России, стала поэтическим «облаком в славе лучей», стала Русским Торжеством. И Олеся Николаева поет о том выстраданную и светлую песню.

Мирь Духа – а рядом вещный Мирь... сияние маминых старых бус, безделушки, отражения любимых статуэток в исчезающем зеркале, как в талой воде... Тайнозрение. Взгляд чуть касается утраченного. Зрачок гладит невыказанное, неутоленное. Поэт пытается остановить и поцеловать Время: люблю тебя, не уходи, а уйдешь навек, оставь хоть память, ее золотую кроху!..

...Оттого для меня драгоценны бусы мамы моей,
папины шахматы, друга – мозаика из камней.
Трогаю эти вещицы с нежностью, так дивясь,
словно между дарителем и подарком осталась связь.
Словно папа почувствует, как тоскую о нём,
когда я чёрную королеву – смерть – бью белым конём.

«Смерть, где твое жало?.. Ад, где твоя победа?..» Нам всем уйти.
Нам всем переступить порог. Кто испытывает страх перед великим переходом.
Кто – удивление: как, и со мной сие произойдет?.. Да; и память не спасет.
Мы не возьмем ее с собою в Мирь Иной. Она – кровь, что горячо течет в живых, живущих.

Олеся Николаева несколькими графически точными штрихами изображает смерть – извне, мысленным наблюдением, а может, изображением с натуры (мы ведь провожаем *туда* наших родных, дорогих!..), а может, предчувствием. Предчувствием Ангела, что утешает во всём и безмолвно изъясняет всё. Он, крылатый светильник Господа, с нами. Это мы сами отворачиваемся от него. Глядим во страх, а надо бы глядеть – в Радость.

Он оглянулся мысленно и всё же
увидел въяве, что стоит за ним
на свой иконный образ непохожий,
но явно – ангел или херувим.

Повис, как бы эфир, сгустившись тучно,
по контуру подсвеченный предел...
И повторяет:
– Здесь я неотлучно.
Не жалуйся! Ты не туда глядел!

И в этой ветхой плотяной одежде
из мышц и кожи – небу, пустырю –
вглубь обступившей тьмы кричу:
– Я – тоже!
Прости меня! Я не туда смотрю!

И вдруг – бетховенское, воинское, восстанное, росстанное, святознаменное, извечное: борьба. Куда ж мы без борьбы? И каков человек, какова его судьба без борьбы? Не сразу приходит к нам эта страдальная, в муках рожденная, насквозь просвеченная ясным Солнцем, ангельская пара – терпение и смирение. Сначала – сражение. Сначала – война. Замирение – потом. Ты – солдат. Ты – воин. И так суждено. От века. От Сотворения Мира.

Ибо жизнь – это битва: следить свысока
мировой оголтелый бедлам,
тут военная хитрость – не брать языка,
партизана по вражьи тылам.

Но вести затяжные, как ливни, бои
с сонмом ангелов падших, едва
отбивая у вестников смерти свои
силы, помыслы, чувства, слова.

Олеся Николаева чудесно и счастливо разнообразна в музыкальной ритмике своей. Ей подвластна и короткая, кратко-жесткая, в кулак собранная строчка, и упругий, как четкий быстрый шаг, властный размер, и размашистая, разливом синей реки на полземли и полнеба, упоительная, широчайшая русская силлаботоника, продолжательница ритмики и песенного, «Боянного» склада русских былин, виршей Симеона Полоцкого, огромных, как снежные степи и колючая таежная шкура Сибири, ветровых периодов огненного Аввакума. Олеся начинала свой творческий путь вот с такого раздольного, длинно-речного стиха, она не боялась его широты, его простора, что не укладывается в сетку классических метроритмов. И вот мы снова встречаемся с этой словесной ширью, под стать искусству древнего псалмопевца:

Осенью говорят деревья, от куста передают кусту:
оставь себе лишь себя, оставь себе простоту,
готовься к бедности, к сирости, к холодам, к Рождественскому посту:
осыпаются листья, отрываются пуговицы, ветер к ночи всё злее.
Всё у тебя отберут: роскошь, молодость, красоту,
а кураж и сама отдай, не жалея.

...Ах, выйдет срок, уляжется головой на восток, времени поперек,
пока его мамка сыра земля не примет в утробу, развяжет себе пупок.
Мол, спи-почивай, выращу из тебя шиповник, и пусть расцветёт впрок
колючий красный цветок!

...И на чадающем огне маленькой злой горелки
я сожгу эти записи, почерк дрожащий, мелкий,
тон завиральный, росчерк, неровность линий.
Отблеск от пламени красный, переходящий в синий.

Человеку не хватает воздуха. Он ловит губами ветер. Он идет, один на свете, хоть и в толпе. Стихотворение – еще одна попытка схватить этот земной, сладкий (горький ли!.. неважно!..) воздух ртом и сердцем. Сердце не может биться в безвоздушие. Его жаждой ветра проверяется не только наша стойкость перед страданием, но и наш дар прощения.

Простить – и забыть... узнать – не узнать... Время такая штука, что в нем ничего не поправить. Да и не надо. Зачем нам, людям, менять Божию волю. Но, когда мы нашими ночами вступаем в то пространство, что иные философы именуют смертью при жизни, – во сны наши, мы забываем, где мы жили, и не понимаем, где мы очутились; и сердце бьется, а мы его не слышим; и скользим мы по краю памяти, а она вот-вот оборвется... и смутно, тревожно, слёзно и страшно лишь догадываемся, ГДЕ мы.

Лишь заснула – и вздрогнула, оступаясь...
По незримой лестнице ль шла во сне,
по осенней улице ль, осыпаясь,
по морскому ль берегу, по волне?

По скользкой памяти ль – там, где ало
ослепляло зарево, сердцу – в тон?
Иль по Царству мёртвых, где вдруг узнала,
а кого – не помню...
Порвался сон.

И мегаметатра театра внезапно как хлестнет нас наотмашь, жестоко и кроваво-правдиво! Шекспира впору вспомнить – знаменитую фразу из пьесы «Как вам это понравится»: «Весь Мирь театр; в нем женщины, мужчины – все актеры». Да, играем! Да, лицедействуем! Исполняем социальные роли. Играем, маски палим, притворяемся перед самыми близкими, самыми родными. И ужасно это. И к этому ужасу – да, привыкаем. Но, может, театр-то совсем не лицемерие, а – мужество! Воля к жизни, когда тебя убили! И ты должен встать. Пуля, огонь, снаряд сразили друга. И поднимись за него – ты. И – играй. Пой. Кричи. Смейся сквозь слёзы. Утверждай незыблемое.

Тут монолог вековечный заученный
все начинают твердить:
– С этой вот сцены бесценной, замученной
некуда нам уходить!

Будем до смерти играть – то раскручивать
жизни пружину, то рвать:
правых оспаривать, мёртвых озвучивать,
вместо упавших – вставать!

Олеся Николаева свободно расхаживает между персонажей исторических и библейских, видит, как взрывается «петарда / у Керенского в руке», слушает Блока, взирает на Лютера, смотрит на Фрейда, Гитлера и Сталина, что встречаются в Вене, еще не зная друг друга, не ведая, кто они такие и что сделают с Миром, перед Первой мировой войной («Тысяча девятьсот тринадцатый»). Ей внятна земная история, потому что поэт и сопротивляется всепожирающему Времени, и сокрушает его молнией *мысли* и пучком мощных лучей, как на гравюрах Гюстава Дорэ, исходящих из *чувства*, и – Время – принимает. А принять – значит понять. А понять – значит: уже любить.

И что есть любовь в подлунном Мире? Ей нет определений. А мы все о ней. И для смерти тоже нет слов. И лишь о ней мы помышляем, воспевая жизнь тем горячее и пламенной, чем смерть ближе и безусловней.

А Олеся Николаева столь же библейская, сколь и трогательно-детская, столь же воински-мужественная, сколь безмерно-нежная: по-женски, по-травному, по-речному, – она идет одновременно и путем земным, поднебесным, и путем небесным.

И заводит тот путь («...поэта далеко заводит речь» – М. И. Цветаева) прямо в Райский Сад.

Не все на земле его видят и слышат. Не все вкушают плоды его. Не все медленно ходят по его мягкой, шелковой, сияющей траве.

Олеся – ходит. И, улыбаясь, обнимает за шею льва и ягненка, и маличную ветвь протягивает нам.

Боже! Как прекрасно это!

Я не знаю, право, виденье это иль опыт.
Я ложусь в траву, прижимая ухо к земле, и – топот:
то ли это за нами погоня, то ль бунт в аду,
то ль наружу просится клад Кощея,
то ль покойник рвётся на солнышко, то ль Идея
мира Божьего вырастает в моем саду.